

Юрий МАЧЕРЕТ

ЛЮДИ И ДЕЛА В ГОСФИЛЬМОФОНДЕ 1950-Х

Из Перedelкино в Белые Столбы мы переезжали на полуторке. Я с мамой в кабине, а старший брат Дима с отцом—в грузовике, закутанные одеялами. Мороз был настоящий, декабрьский. Разгружались уже в темноте. Вещей было всего ничего. Мебели никакой. Несколько тюков. Большая фанерная коробка из-под чая, оклеенная внутри фольгой. Три-четыре чемодана, один из них трофейный: неведомый пластик, никелированный металл, кожа, а внутри зеленый шелк, ремешки, кнопки, молния.

Трехкомнатный финский домик (действительно, скомплектованный в Финляндии) был для нас жильем шикарным. Вероятно, он и стал причиной нашего пятилетнего пребывания в Белых Столбах. До него мы кочевали, меняя гостиничные номера, комнаты и хозяев. Дом встретил нас прохладно. Осиновые дрова горели плохо. Уголь разгораться не хотел вовсе. В мамином крестьянском детстве такого топлива не было. Папино участие в решении бытовых вопросов было стратегическим—не помню папу с молотком или лопатой в руках. Мама, конечно, как всегда, победила: мы спали на полу вполне протопленного дома. Позже она рассказывала, как, проснувшись после этой ночи, обнаружила за окном русского размаха снежное поле с узкой полоской леса на горизонте и приклеившейся к ней деревушкой. Этот невеселый пейзаж был знаком ей до боли. Именно из такой затерянной в полях и лесах северной деревни мама вырвалась, поступила в театральное училище, стала актрисой театра и кино—и вот снова. Но грустить было некогда. Колодец был срублен из осины, и вода издавала незнакомый неприятный дух. Подумали, это от крашенных ведер, воспользовались оцинкованным—запах не исчез. Нашли хорошую воду, но ходить было далеко. Подавляющая часть жителей поселка размещалась в бараках. Коридорная система, кухни и места общего пользования делали жизнь прозрачной. Соседи не проявляли доброжелательной общительности. Их можно было понять: год-то на дворе стоял пятидесятый.

Госфильмофонд, где заместителем директора по научной части был назначен папа, располагался в двухэтажном кирпичном здании с оштукатуренным крашеным фасадом. У дороги оно было перегорожено шлагбаумом, с будкой и охранником. Остальные стены сооружения уходили в лес, окруженные колючей проволокой, вышками с охранниками и табличками «Запретная зона». К этой колючке примыкала другая, с еще более зловещей надписью: «НКВД». Если вам попадался молодец в серо-голубой шинели с меховым воротником, лучше было пройти от него как можно дальше и не смотреть ему в лицо. Этому никто не учил—так было принято.

После смерти вождя эти молодцы исчезли в одночасье. Ворота в зону открыли, а щитовые дома заселили обитателями бараков. Жилье оказалось райским—с маленькими двухкомнатными квартирами, оборудованными—неви-

данное дело!—отдельными ватерклозетами. Ближайшим соседом ГФФ был кирпичный завод. Подальше—Белостолбовская психушка и исправительный лагерь, откуда регулярно сбегали особо опасные преступники. Нас оповещали об этом, и мы день-другой проводили в ожидании неизвестных гостей. Чуть позже совсем рядом появилась военная часть, штрафная, с колочкой и вышками. Строевую осваивали прямо под нашими окнами.

Развлечений хватало. В настольных играх первенствовали лото и домино. Не пустовали футбольные и волейбольные площадки. Дети, конечно, играли в войну. Мастером батальных игр был мой брат. Начитанный, он воспроизводил исторические битвы. Ну, например, Ледовое побоище на весеннем льду нашего пруда: мы весьма достоверно оказывались в ледяной воде, потом сушились у костра...

После смерти вождя наше пребывание в ГФФ проходило в смягченном пропускном режиме, поэтому нам, мальчишкам, по воскресеньям иногда показывали фильмы: Чаплина, мультфильмы—это было интересно. На кирпичном заводе был клуб, «киносарай»,—барак, лишенный перегородок, с экраном в одном конце сцены, кинопроектором в другом и скамейками между. Мы, дети, смотрели кино, лежа на сцене—и перед экраном, и за ним. Помню, когда показывали «Тарзана», билетов не хватило. Те, кому не повезло, принялись выламывать доски из забитых окон. В ход шли подручные средства. Один из кирпичей, пробив окно, угодил в голову усатому и лысоватому зрителю. Разгневанный и окровавленный, он стоял в лучах проектора, матерился и представлял собой захватывающее зрелище. Но конкуренции с Тарзаном не выдержал и был жестоко посажен задними зрителями на место.

Мама создавала образцовое хозяйство, руководила самодеятельным театром и вместе с папой принимала замечательных гостей. Большинства не помню, из известных был Савченко... Но главное, что из Москвы часто приезжали на несколько дней Ю.Райзман и М.Ромм. Папа и Райзман были самыми близкими друзьями. Юлий Яковлевич был как бы его старшим товарищем и вводил его в кино, а Ромма, в свою очередь, вводил в кино мой отец. И они шутили, что Райзман, Мачерет и Ромм—это дед, сын и внук.

Райзман и Ромм всегда выглядели чрезвычайно вальяжно, экзотически—люди из совершенно другого мира, из другой жизни, одетые в роскошную заграничную одежду, бесконечно интеллигентные. И очень разные, ужасно непохожие друг на друга. Райзман со своим тихим бархатным голосом. И совсем другой—Ромм, с его зычным, звучным голосом. Он мог приехать, допустим, с какими-нибудь раскладными лыжами. Фантастика! Все мы, большие любители всякого спортивного инвентаря, смотрели на эти лыжи с восторгом. Он становился на них, падал чуть ли не через каждый шаг...

А вечерами они, естественно, оказывались за столом. И начинались фантастического рода рассказы. Было уже поздно, почти ночь, нас за стол не пускали. И я мальчоночкой стоял где-то за дверями и слушал все эти замечательные истории.

Совершенно чудесной была местная интеллигенция. Например, Марк Зак—такой обаятельный и прямо-таки комедийный персонаж, симпатяга. Он ездил на велосипеде—это само по себе было по тем временам достаточно ред-

ким явлением. А у него велосипед был еще и какой-то красненький, необычный. Помню Парфенова с женой, Якубовича-Ясного... Когда они приходили, всегда устраивались милые застолья. Там стоял патефон, у которого надо было крутить ручку,—тут я и пригождался. Директор Приватто ходил в бурках. Высокий и вообще экзотический человек. Это был администратор, занимавшийся исключительно хозяйственной работой. Авенариус—яркая личность. Худощавый, высокий... И не строгий, как могло показаться: детям было видно, что к нему можно подходить. Компания, которая оказалась рядом с отцом, была очень неплохой. Они—вгиковское поколение киноведов—появились все вместе, чуть ли не на следующий год после нас. Эти живые интересные люди воспринимались, как поток свежего воздуха,—ко всему прочему на фоне того мрачного времени. До этого были и другие: Глаголева, Елизаров, Ханжонкова—милейшая удивительная женщина!

Много чего можно еще рассказывать. Пребывание в Госфильмофонде—действительно, яркий кусок моей жизни, может быть, определяющий. Именно там учительница в школе сказала мне: «Ты будешь художником!» Она сама была из тех благородных девиц, что оказались в народе. Интеллигентнейшая рафинированная дама, тогда уже старушка. Деталей я не помню, но облики этих людей навсегда врезались в память.

Когда мы приехали в Госфильмофонд, мне было 6 лет, а когда уехали—11. Конечно, за это время я слабо познакомился с производственной стороной и мало что помню. Отец рассказывал, что вначале там был огромный трофейный фонд. И насколько я знаю, до приезда отца все хранилось в виде неклассифицированного общего собрания, которое нужно было систематизировать, каталогизировать—чем он вплотную и занялся.

Это же фактически была ссылка. Слава богу, отца не посадили. Вообще, ему жутко повезло. Мне говорили, что в архивах находили множество доносов на него, причем часто фамилия Мачерет упоминалась в каких-то материалах просто по ходу дела, вместе с другими.

В определенный момент ему предложили на выбор три места. Можно было ехать на Вильнюсскую студию, в Казахстан или в Госфильмофонд. И здесь мама проявила мудрость и разрешила ситуацию. Она рассудила, что в Вильнюсе сильны и антирусские, и антисемитские настроения, а Казахстан слишком далеко, оттуда уже никогда не выберешься. Отец сомневался: что ему делать в Госфильмофонде? Мать сказала: пока займешься фондами, а потом будешь писать книги. И, действительно, там он написал несколько своих книг, к примеру, «Актер и кинодраматург».

Таким образом, уход в киноведение из режиссуры (а отец был, между прочим, заслуженным деятелем искусств) оказался путем к спасению. И он, действительно, сработал. Во всяком случае с отцом все было в порядке, и мы вполне благополучно провели это время. Хотя противостояние ему было всегда, и в Госфильмофонде тоже. Я не знаю, что конкретно происходило, помню только его вечерние беседы с мамой. Кстати, отец никогда не жаловался, что бы ни случилось,—это такая интеллигентская завкаса того времени. Он ведь разделил судьбу очень многих кинематографистов в период малокартинья. Иосиф Виссарионович решил, что надо снимать в год только 5 хороших картин, и

больше ничего,—и вышибли всех режиссеров. Осталось человек пять—слава богу—но ничего из замысла вождя, как известно, не вышло.

В общем, снимать было невозможно. Только потом, когда отец уже приехал в Москву, я помню несколько случаев... Был такой писатель Михайлов. Он написал книжечку о вечерних школах, и отец думал, что можно сделать на этом материале фильм. Михайлов был готов написать сценарий. Но все-таки отец как-то удержался и не пошел на это. Сейчас я понимаю, почему. Это было бы слишком больно. Он ведь очень здорово получил. Слава богу, что остался живой, но получил по полной программе. На него и его фильмы обрушивали такие обвинения... Позже, когда я посмотрел эти картины, я удивился: почему? А потом понял: тут было неважно, за что. Надо было просто устраивать кровопускания. И их устраивали.

Скажем, будучи уже вполне сформировавшимся юношей, я посмотрел (кажется, по телевизору) ленту «Дела и люди». Мне искренне понравилось: она в духе своего времени, светлая, чем-то напоминает полотна Дейнеки... Я сказал все это отцу, и он ответил: «Знаешь, меня так за эту картину лупили, что я уже сам думаю, что, наверное, это неудача». Но я спорил, и он немного отступил: «Может, ты и прав...» То есть он искренне поддался влиянию общего мнения сверху—в этом не было кокетства.

Отец был очень требователен к себе, жёсток и жёсток. Он переделывал огромное количество материала. Я видел, как в процессе работы над книгой или какими-то сценариями он отправляет в корзину буквально 10 страниц из 11. Эти его страницы были иногда нужны мне для набросков, поэтому я частенько вытаскивал их и, конечно, не читая, рисовал на обороте. Так было всегда—очень хорошо помню вот это огромное количество бумаги. И потом, позднее, когда я с ним говорил, нельзя было не заметить, как он жёсток по отношению к себе. Мне кажется, он себя несколько недооценивал. Может быть, потому что слишком больно били, он и сам научился себя немножко истязать. Но при этом никогда не терял жизненного юмора. Его нельзя назвать человеком пессимистическим, как раз наоборот,—он всегда был живой, веселый, с озаренным лицом, много шутил...

Когда отца хоронили, Райзман сказал, что знал в жизни только одного такого блистательного человека. И действительно, в нем была такая фееричность. Несколько раз мне приходилось слышать его представления фильмов в Доме кино, и когда я потом смотрел их, мне нравилось гораздо меньше, чем в рассказах отца. Он отшучивался: знаешь, я же плохо слышу, многое приходится выдумывать... Но он, действительно, умел это. И в обыкновенной жизни он жил, все время как бы играя.

После тех пяти лет отец не возвращался к Госфильмофонду. Между прочим, как для меня самого это ни странно, я тоже ни разу не был там после нашего отъезда. И ведь проезжал мимо, думал заехать, но—не решился. Какая-то трусливость, малодушие...

А не так давно услышал по телевизору, как один из новых руководителей Госфильмофонда говорил, что они пришли туда и все начали. Как будто до них не было ничего!.. Конечно, слышать это было не очень приятно, но я подумал: что ж, нормально—обыкновенная история...

Записал **Денис Вирен**